

# ЗАВТРА В АЛЕКСАНДРИИ



ДЕНИС БАННИКОВ  
Писатель и сценарист.  
Первое высшее образование — юридическое.  
Выпускник магистерской программы «Литературное мастерство» НИУ ВШЭ.  
Победитель нонкурса эссе в рамках проента «Студен-

ческий Бунер — 2017». Член большого жюри премии «Национальный бестселлер» сезона-2019. Преподаватель НИУ ВШЭ и Creative Writing School. Публиковался в журналах «Прочтение» и «Незнание». Родился и живет в Москве.

Недоглядов сидел на стуле, сидел и следил за посетителями.

Стул этот каждое утро приходилось двигать обратно в угол, потому что дамочка, работавшая по четным дням, предпочитала сидеть у прохода. Как будто мало было этого порожка — угловатой дощечки, наспех прибитой к паркету, ей хотелось, чтобы при входе в зал все бились о ножки. Недоглядов же ставил стул к стенке, прислонялся спиной к спинке и работал работу. Так и обзор лучше, и тылы прикрыты. Обычно он сетовал, что через день ему вновь придется передвигать стул, но не в этот раз. Завтра его тут не будет. Эта мысль увлекала за собой, отзывалась стуком ботинок о мостовую, от нее веяло соленым воздухом, отдавало какой-то легкостью — то ли хорошо забытой, то ли незнакомой. Да, эта мысль опоясывала его, как металлический обруч опоясывает бочку, всю разохшуюся и потрепавшуюся. Завтра его тут не будет.

Бог с ним, со стулом.

Черт с ней, с дамочкой.

Недоглядов наконец отдохнет.

Завтра.

А пока что он сидит, пока что он следит.

Ладонь в кармане брюк, большим пальцем скользнул по наконечнику. Другая ладонь на коленке, грузная ладонь на шершавой ткани, а под ней, чего гадать, начес. Страсть как душно, но посетители

не догадываются, им невдомек, как потеют ноги, они даже не подозревают, как хочется почесать. Недоглядов еле заметно поскреб ногтями, будто грязь смахнул. В зале жарит так, словно баню растапливают, выпаривают дух из тела, как железо из яблок. Выпрямил спину, поправил карточку на груди, где жирным шрифтом была напечатана его фамилия, а под ней, уже помельче, имя и отчество. Не было в них пластики слова, никакого милого слуху созвучия, разве что две И кратких, и сами кратки такие продолговатые, волнистые, как ленточки какой-нибудь гимнастки во время пируэта. Необязательная, но приятная глазу каллиграфия. Да и к чему эта информация, если так подумать, с посетителями разговаривать не полагалось. Нет, бывает, подходят и спрашивают, но даже тогда обходятся проверенным «не подскажете?». Недоглядов подсказывал, конечно, где туалет, можно ли сфотографировать, но без особого энтузиазма, тараторил заученный стишок и провожал взглядом до выхода из зала, а там уже и не его территория, не его забота. Ну а если приставали с вопросами об экспонатах, это уж простите-извините. Почему-то принято считать, что зрители уму-разуму набираются, второе образование получают. У Недоглядова и первого не было, раз на то пошло. На самом деле даже экскурсоводов слушать запрещалось. Так чего ляпнешь, проблем не оберешься. Да Недогля-

дов и не слушал обычно, взглянет на часы и уйдет в себя, что бы это ни значило, затеряется в провалах между телами и застынет, как копать на амфориске, только отскребай. Леночка, как всегда, курсирует по залу в своих ортопедических босоножках, за ней ватага: дети рука в руку с мамами, мамы под руку с папами, одинокие старики и влюбленные парочки. Какой-то марш хищных птиц, кружат вокруг застекленных пьедесталов, слоняются туда-сюда. Кто зеваает, кто тычет клювом в таблички. Леночка монотонно вещает, переминаясь с мыска на пятку. Закончит – и дальше по маршруту. Поначалу медленно, плетется змейка, но чем ближе к финишу, тем быстрее, рикошетит от экспоната к экспонату, как шарик в пинболе. А в перерыве, пока Недоглядов выжимает чайный пакетик, наматывая ниточку на ложку, она сидит и мнет, мнет и мнет свои стопы. Бугристые, посеревшие, будто обугленные по краям, напоминают ложе высохшей реки. Как всегда, что-то причитает.

Но вот Леночка ушла.

Недоглядов сверился с наручными часами, бросил взгляд на настенные часы. Спешили. Или отставали. Смотри с чем сравнивать.

Вечерело.

Только какой-то залетный мужичок в дубленке нарезал круги по залу. Кисти рук за спиной, пальцы в замок, будто присматривал картину на вернисаже. Ходил так неспешно, кажется, напялив бахилы поверх бахил. И все равно наследил. Подтаявшие ошметки слякоти, грязные лужицы на лакированном паркете, а в них, если приглядеться, поблескивали светляки, вереница лампочек под потолком.

Наконец подошел к одной из картин.

Склонился, как учитель склоняется над тетрадью ученика. Нос к холсту, будто принимался. Недоглядов откашлялся, напомнил о себе. Иногда и хотелось прикрикнуть, вспомнить, как звучит собственный голос. Что-нибудь безобидное, прямиком из методички: *за линию не заступать* или *руками не трогать*. Как-то раз в ответ прилетело – *а вот я была в Европе...* Голубушка, тут вам не Европы, экспонаты полапать, книжечки полистать, припасть к мрамору, как сейчас модно, – это не к нам. Так что руки не распускайте, держитесь линии и любуйтесь на здоровье. Но это временами, местечково. Как правило, хватало взгляда из-под бровей. Сделать вид, что сию секунду подорвешься и устроишь нагоняй.

Недоглядов что-то прокряхтел.

Мужичок встрепенулся, попятился и приземлился на банкетку в центре зала. Гнутые ножки и пышный

красный бархат, который наверняка и не бархат никакой, а дешевая синтетика. Вся мебель – простенькая кабриоль, какой Недоглядов сам бы настругал, будь у него станок. Мужичок сидел, молчаливо созерцал. Какой-то неестественно сосредоточенный взгляд, выискивающий и подмечающий, будто что-то сознающий, видящий то, что остальные упускают. Но сейчас этих остальных след простыл.

Недоглядов глянул на часы.

Вновь покряхтел, покрепче стиснул железку в кармане и подвинулся на краешек стула.

– Уважаемый... – прорезалась хрипотца.

Мужичок повернулся. Толстенная линза съела глазницу и часть скулы. Кусок лица срезали, вынули, как деталь из башенки в дженге. И вот глаза стали больше, зрачки раскрылись, распахнулись, как диафрагма фотоаппарата. Недоглядов поежился, постучал по циферблату.

– Мы закрываемся.

Фраза дошла до мужичка не сразу, будто с задержкой. Фыркнул, поднялся и зашаркал к выходу. Хлопнула входная дверь.

Недоглядов и только.

Снова поглядел на часы. Надо бы не забыть перевести время. Можно и заранее. Все эти часовые пояса сбивали Недоглядова с толку. Никогда не понимал, на какую дырку застегивать, вечная путаница.

Еще посидел, с хрустом потянулся.

Сделал пару шагов в сторону картины, на которую таранился мужичок. Зачем, не ясно. Вот такие одиночки, как показала практика, всего опаснее. За ними глаз да глаз. Пронырливые зазнайки, которые приходят для того, чтобы уличить в некомпетентности, поправить экскурсовода, указать на неточность, на какую-нибудь пустяковую опечатку в описании. Все эти скучающие дети, нарочито заинтересованные родители – это будни. Бояться нужно снующих туда-сюда, отбившихся от группы.

Был такой один.

Зашел сам, увели под руки.

На другом месте, года два назад. Там была французская елочка и сводчатые потолки, как в турецкой бане, то и дело подкручивали температуру света, черные на белом – глазки на березе – по углам попрыганы камеры. Днем – все битком, вечером – обходы и проверки, работала комиссия, хранители и милиционеры, пожарник и электрик. То был музей в словарном смысле слова, здесь – перевалочный пункт.

Временная мазня, временные люди.

Тогда Недоглядов сидел на стуле, паренек скользнул в соседний зал, тихой сапой подсту-

пился к картине. Неприметно стоял, напивался прекрасным. А потом – как раз в тот момент, когда зритель отлучился в уборную, – полез в карман. Все произошло так внезапно, молниеносно даже. Недоглядов только подходил к порожку, чтобы поработать на два фронта. Офактурилось, сверкнуло. Взмах, потом еще. Вонзил поглубже. Холст разошелся, зияющая дыра посередине. Стоял и глядел, самому себе поразившись, только осознав, что решился. Но в то же время и спокойно, как-то отрешенно, будто не он умертвил, он мимо проходил и увидел, как перебегавшего дорогу пешехода сбила машина. История гремела и гроыхала. В город по команде слетелись столичные писаки, облепили музей, всюду совали нос. Вот курносый, вот горбинка, вот вмятина – видать, поломали и не срослось, – вот крылья в черных точках, вот приплюснутый пяточок, румяный с мороза, вот обветренные ноздри, затертый одноразовыми платками насморк. Вот глушак микрофона трется о нижнюю губу, отблеск вспышки, еще, еще отблеск, безразличный взгляд из-за камеры, красным мигает лампочка диктофона, будто огонек пожарной сигнализации. Все то же, эти вопросы. Недоглядов стоял статуей, потел под мышками. Руки в карманах, тараторил заученный стишок. Так внезапно, молниеносно даже. Ничто не предвещало. Потом раз – и все, потом вопли, охи и ахи, бездумные глаза по рублю. Потом повалили, заломили руки и скрутили. Когда выводили из зала, обернулся и как-то удовлетворенно, может быть, даже довольно прищурил глаза. Уголок рта дернулся вверх. Как будто добился всего, чего хотел добиться, и жизнь ценна тем, что его из нее выпроводили. Впрочем, об этом Недоглядов умалчал. Потом вышли статьи и заметки, репортажи и авторские колонки. По телевизору звучала поставленная речь, заученные стихи. Вмиг растащили на цитаты. Исковеркали, переиначили. Недоглядов выписал местную газету и, открыв нужный разворот, с удивлением обнаружил свою фотографию по центру. Скверно распечатанная физиономия на шершавой бумаге, обрамленная мелким текстом. Только заголовок набран размашисто, подчеркнут красным. Недоглядов поморщился. Кудряшки за оттопыренными ушами, тополиный пух в ушах. Можно было и выщипать, как и волосы в носу, но кто же знал. Можно было и приодеться, как советовала его ненаглядная. Пиджак и галстук. Пиджак имелся, висел на плечиках, кормил моль. Галстуков Недоглядов отродясь не носил. Еще утягивать петлю вокруг шеи, плести мудреные узлы, и сами галстуки слишком короткие или слишком длинные, либо слишком узкие, либо слишком

широкие, одноцветные и узорчатые, и нижняя часть лежит на животе – чего уж там, на пузе, – кончик напоминает высунутый от жажды язык. Если прогладеть статью, не вдаваясь в подробности, можно было подумать, что это Недоглядов бед наворотил, будто это он искромсал картину. Первое время переживалось, а потом как-то поутихло, сошло на нет так же быстро, как раздулось.

Ну и хорошо.

Потом все вернулось на круги своя.

Недоглядов открыл дверь в каморку. Темно и затхло. Нашупал переключатель. На тумбе кряхтел керамический обогреватель, похожий на радиоприемник. Рядом стоял сундук, такой даже рундук с металлическими заклепками, какие Недоглядов помнил по службе во флоте, а были и такие времена. Под крышкой покоилось всякое барахло, включая Леночкины босоножки, которые она всегда засовывала один в другой и клала в угол. У стены – столик, накинута клеенка. Полупустая упаковка чая, фаянсовый чайник и блюдце со спиральным узором. Дверца не закрывалась, силиконовый уплотнитель весь износился, истончал и стерся, так что холодильник размораживался, недовольно урча животом. Недоглядов впопыхах освеживал яблоко. Кислое на языке, сладкое на языке. Заморил червячка, после ездил кончиком языка по зубам, силясь выцепить кожуру. А потом переместился к раскладушке и пододвинул запакованный чемоданчик. Без того тусклая обивка в проплешинах, стертые колесики. Не от путешествий, скорее от времени. Из бокового кармашка Недоглядов вынул распухший путеводитель, который ему выдали в турагентстве. Он, честно говоря, долго не думал, куда ехать, на что потратить компенсацию. Хотелось уехать, хотелось потратить. Девушка за стойкой перечисляла варианты, ноготком переворачивая страницы каталога.

– Белоснежные пляжи.

Пожалуйста, следующий слайд.

– Крохотная деревушка в горах.

Дальше.

– Чумовая кухня, свежайшие морепродукты.

Недоглядов понимающе моргал, как бы принимая к сведению, мотая на отсутствующий ус, пока не оживился, увидев коллаж: камень и песок, желтым-желто, башни в рассветной дымке, частокотлы покосившихся мачт. Может, корабельное прошлое в нем откликнулось. Может, что-то еще.

– Александрия прекрасна в это время года...

Она еще что-то бормотала на своем продающем наречии, таком приторно заискивающим, а Недоглядов не сказать что слушал, это вряд ли, смиренно

Недоглядов прощупал упаковку, вскрыл уже на выходе. Присмотрелся, повертел. Булавка для галстука в виде Александрийского маяка. Сам себе кивнул, припрятал в карман брюк. По дороге домой размышлял, да, размышлял, когда засыпал, размышлял по дороге в музей и вот сейчас, в музее, тоже размышлял.

кивал на библиотеки и акрополи, попутно думая свое, воображая план за отсутствием плана. Сошлись на датах, разве что руки не пожали. Напоследок девушка, похлопав ресницами, запустила руку в ящик и положила на стойку золотистую железку в целлофане.

— А это вам презент.

Словно подсказала она, как надлежит относиться к безделушке. Чувство было такое, будто ребенку вручили мятную конфетку, чтобы скрасить визит к стоматологу. Недоглядов прощупал упаковку, вскрыл уже на выходе. Присмотрелся, повертел. Булавка для галстука в виде Александрийского маяка. Сам себе кивнул, припрятал в карман брюк. По дороге домой размышлял, да, размышлял, когда засыпал, размышлял по дороге в музей и вот сейчас, в музее, тоже размышлял. Недоглядов выудил сложенную пополам карту, исчерканную попустевшей ручкой. Сперва он прокладывал маршруты, но скоро понял, что ходит тупиками, пытается выйти из лабиринта. Нет, все не так. Надо было отпустить ниточки и, как бы это сказать, обузгнуться в лабиринте. Хотелось плутать этими самыми тупиками, как-то породниться с ними. Хотелось теряться и находиться, забываться и вспоминаться. Непредвиденных прият-

ностей. Хотелось откликнуться на просьбу какого-нибудь развеселого туриста, щелкнуть на память, а после, прогуливаясь по кромке полумесяца, самому отразиться в объективе. Не нарочно, может, и не подозревая, тоже на память. Хотелось пройтись по хваленому мосту, лавировать среди колониальной архитектуры, этих угловатых домишек, полагаясь на авось. И обязательно заглянуть в магазинчик, выторговать у чудаковатого продавца костяную трубку, да, скажем, костяную трубку с резьбой, забить табака покрепче и выдувать колечки. Ну и на пляж, конечно, зайти на пляж для местных, по пути сетуя на то, что не промазалось меж лопаток, провести самый жаркий день у воды, как следует обгореть, чтобы кефирная кожа побагровела, слезала толстенными шматками. Шелушиться и смотреть на море, зная, что под толщей воды мерно покачиваются тинистые сети, полные рыбы, которую разделяют в кафе неподалеку. Хотелось примоститься в этой кафешке, заказать больше, чем можешь переварить, ужинать вопреки, помяная белковое отравление, а потом хотелось, знаете, осознать, что наелся от пуза, взглянуть на чек и кое-что еще осознать, пристыдиться, что обворовал заведение. И, подслушав какой-нибудь сокровенный разговор на незнакомом языке, оставить чаевые, щедро так оставить, а потом неспешно собираться, наблюдая за реакцией официантки, и отчалить, сесть на один из этих желто-красных трамвайчиков, извилистыми путями добраться до номера, где муравьи размером с тараканов, и распластаться под лопастями вентилятора. Уснуть под шум прибора, напоминающий шелест листвы. Поглядывая на карту, Недоглядов думал, что из всех достопримечательностей ему, пожалуй, запомнился только пресловутый маяк. Вот это Недоглядова занимало, как что-то столь монументальное попросту сточилось о время. Камни пошли на крепость, походившую на песчаный замок. Пяток картинок в путеводителе. Напоследок надо сделать вот что. Надо достать булавку, встать поодаль и вытянуть руку перед собой. Пришуриться, прикинуть масштаб. Может, проникнуться, может, нет.

Недоглядов сложил карту, убрал в путеводитель.

Посмотрел на часы.

На боковую пока не тянуло.

Кинул взгляд на крючки для одежды, на скрюченные пальцы, торчавшие из стены, подзывавшие подойти поближе. Недоглядов и подошел. Вот уже стоял на крыльце в любимой аляске — накинул на плечи, не просовывая руки в рукава. мех на капюшоне поредел: шерстинки слиплись у корней, кончики растопырились, как волосы на сливной затыч-

ке. У ворота болталась пуговица. Сколько уже она так болталась? И срывать жалко, и пришить руки не доходят. Недоглядов успокоил себя тем, что завтра он будет нежиться в теплых краях, где пуховая куртка ему не понадобится. Чиркнула упаковочная бумага – не оторвана, криво надорвана, – последние сигареты держатся друг за дружку. Колесико зажигалки.

Облако дыма, облако пара.

От крыльца вкось расходятся следы, обращенные внутрь и вовне, снег переливается в свете фонарей. Недоглядов затыкнулся, подержал. Взглядом он чертил взлетную полосу, мыслями уже опаздывал на самолет. Выдох. Хлопья снега, никакого ветра. Кружат и плавно оседают. По правую руку подровняли сугроб, из верхушки, как меч из камня, торчала лопата. Кто вызволит, того и королевство. Сам себе усмехнулся. Ни одного заведения поблизости, только вдали, в густом тумане, пурпуром мелькает вывеска, словно бьется чье-то продолговатое сердце. Будто с минуты на минуту начнется концерт, вот-вот из клубов дыма выскочит какая-нибудь рок-звезда. Затыкнулся. А там, чуть дальше по улице, прямо за поворотом, дом не дом, особняк, фамильное поместье. Все обтянуто зелеными тряпками, заставлено строительными лесами. Никакой тебе картинки, никакой многообещающей открытки из серии *«вы потерпите, будет красота»*. Каждое утро Недоглядов ходил мимо этого здания, стоял у перехода и от нечего делать изучал табличку у входа. Там выгравировано имя, перечислены регалии, раньше там жила старая – нет, заслуженная – актриса, худрук молодежного театра. На всех фотографиях, которые зачем-то развесили поверх лесов, при полном параде – где в широкополой шляпе и накидке, где с завивкой и пушной шкуркой на плечах. Клинышек подбородка всегда кверху. Кажется, смотрит прямо на тебя, но как-то свысока. Похожее изображение висело в музее, вроде как старая афиша. Высокий лоб, вдовий мыс. Непроницаемый взгляд, тени и пудра, пастозные мазки, будто и не лицо, а посмертная маска. На время реконструкции всю ее коллекцию переместили, присовокупили другие экспонаты, ну и получилось то, что получилось. Конечно, временно. Как только дом подлатают, рисунки вернутся в родное лоно.

Недоглядов часто об этом думал. Не сказать, что специально. Странно это – было жилище, стал проходной двор. Чужие люди шарахаются там и здесь, марают некогда чистые полы, чихают и кашляют. Неприкрыто скучают, мыслят аналитически. Недоглядов гадал, какой музей вышел бы из их квартирки.

Тесно, как в посудной лавке. Пустовато и мрачно-вато. На что смотреть? Привезенный с дачи ковер, ворсистый и колючий, пара фотографий в простеньких рамках, материнская утятница, газовая плита. На подоконнике грустил цветок. Его ненаглядная жаловалась, мол, не на ту сторону окна выходят, не хватает солнечного света. Причитала, подливая в бутылки какое-то мудреное удобрение, помешивая и перемешивая, пока не станет желтым-желто, затем поливала цветы и садилась за стол – вязаный плед на плечах, – проверяла работы. Кипа зеленых тетрадок в косую линейку. Снижала оценки за почерк, если обложка не подписана или подписана не так. В перерывах, пока одна стопка уменьшалась, а вторая разрасталась, не глядя чистила апельсины. Не руками, ножичком. Аккуратно снимая кожуру одной длинной змейкой. В тот день его ненаглядная быстро утомилась, хотя в начале учебного года сил у нее всегда было предостаточно. Отложила тетрадку в сторону, пожаловалась на голову, бросила недоеденный апельсин и пошла, задев рукой жардиньерку, в коридор, пошла в спальню. Недоглядов, странно сказать, и не сразу вызвал скорую, то есть вообще не вызвал, нет, сперва подумал – утомилась, прикорнула, а потом, когда зашел, когда увидел, как-то сразу понял, что все, что уже ничего. Сел рядом, взял за руку и смотрел, как смотрят на сохнувшие краски. Все еще пахли апельсиновыми корками. Недоглядов вернулся на кухню и навалил макарон, которые, несмотря на старания, все равно слиплись. Зашел в спальню только вечером. Приоткрыл форточку, колыхнулись занавески. Шелестела листва, напоминала гул прибора. Постоял, послушал. И снова сел рядом, взял за руку, задев кольцо на среднем пальце костяшкой своего. Двинулось, скользнуло вниз, как по веревочке, хотя обычно с маслом не стянешь.

Потом он плакал.

Не столько от горя, сколько от бессмысленности. Всего и сразу.

Потом было неприятное, хотя и нужное. Его ненаглядную раздели, разрезали, как черствый фрукт, железками выскребли из полостей бесполезное, описали все жабьим языком и заверили печатью.

– Знаете, в старину думали, что после смерти тело продолжает, как бы это сказать, чувствовать боль, даже во время вскрытия. Вот штука, м?..

Вот и зачем ты это говоришь, спрашивается? Что делать с этой информацией? Попался еще такой разговорчивый, будто специально. Пока этот мужичок, шелкая ручкой, что-то бормотал о токсинах, Недоглядов молча кивал, кивал и видел, как

эти мохнатые ладони копаются в его ненаглядной, будто обыскивают чемодан на таможне, как этими почковатыми пальцами он цепляет кишку и вытягивает, разве что на локоть не наворачивая, словно фокусник вытаскивает флажки из рукава. Ну да, так быстро. Молниеносно даже. А теперь? А потом? Недоглядов склонился над гробом и в последний раз коснулся руки. Хотелось вспомнить что-то важное, но он только смотрел и думал, думал и видел, как описанные органы засовывают обратно, видел стежки под мешковатым платьем, перекрестья швов, смотрел в закрытые глаза, а там черным-черно, зияющая пустота посерединке, только шинкованный мозг в брюшной полости – *по-другому никак, дружище, иначе похороны не выдержит*. Лучше бы он этого не знал. Хотелось только обратить время вспять, готов был распороть себя, чтобы все сшлось, как было, чтобы заработало, зажило, чтобы снова застучало в груди. Потом накрыли крышкой под дуб, потом были какие-то слова сожаления, слова поддержки, граненые стаканы и слашавая кутья, потом были третий, девятый, сороковины. Ну и поутихло, да и слава богу, сколько ж можно, все уже выплакал, а этим сожаленцам еще подавай. Недоглядов как будто даже виноватым себя чувствовал. Надо было что-то выяснить, и выяснилось вот что. Как-то Недоглядов уронил тяжелое – то ли бутылку, то ли еще что – и проделал трещину в полу. Но скорее всего бутылку, переживать всухомятку было тяжело. А там – черным-черно. Ну он почесал за ухом, откопал машинку, снял пару досок и встретился лицом к лицу с отравой. Под паркетом вместо подложки и стяжки – битум, то есть буквально асфальт. Сколько они так прожили? Уже не важно. Потом были разговоры с застройщиком, замерщики и оценщики, вымученные компромиссы. К зиме дошло до суда, и потасканная женщина с нескрываемым безразличием стукнула молотком, всех обязав. Недоглядов хотел какой-то справедливости, пугал уголовщиной, но все пошло прахом, от уголовщины осталась только жиличка. Да подотритесь вы этой компенсацией! Тогда казалось, Недоглядов проложил лыжню другим жильцам, но по итогам проклятое место на весь дом было одно. Под праздники в квартиру заехала бригада. Разгрузились и разложились, деньги вперед. Недоглядов посмотрел, как мебель оборачивается целлофаном, как снимается доска, как выкорчевывают битум. Посмотрел раз, два посмотрел. Быстро наскучило, так что и контролировать перестал. Изредка заходил за вещами, сверяясь с прорабом, обговаривая сроки, которые, положа руку на сердце, мало его волновали. Рабо-

чие корячились и кочевряжились, ползали на короточках, тарабарили на своем, чихали от пыли, утирали глаза, то и дело собирали слюну. Хорошо, не отхаркивали. Один из них расхаживал в кепке набекрень. Какие-то знакомые цвета, знакомый логотип. Наверное, сотрудник похоронного бюро забыл, а Недоглядов и не заметил. Пускай, будет сувенир. Работы множились, поставки задерживались, сроки растягивались. Пару дней Недоглядов ночевал в гостинице, вроде сдюжил, но под праздники кольнуло. Когда вышел во двор покурить. Бесилась детвора, родители запускали фейерверки – сперва площадка окрасилась синим, красным, затем всеми цветами радуги. Хлопали в ладоши, чокались заледенелыми бокалами с шампанским. Закурив, Недоглядов впервые за черт знает сколько лет поперхнулся дымом. На языке загорчил табак, много сильнее обычного загорчил. Недоглядов не сразу понял, что перепутал стороны и подпалил фильтр. Последняя сигарета в новогоднюю ночь. Недоглядов откусил почерневший фильтр, сплюнул, откашлялся, чиркнул зажигалкой и в конце концов затянулся. Куранты отгремели, вышел в праздники. Народа не было, работа была. И как-то раз опомнился в камерке музея. Видать, срубил, никто и не хватился. Так он – никого не спросив – решил, что нет в этом ничего предосудительного. Бывало, делал вид, что уходит домой, прогуливался до особняка, затем возвращался, отпирая дверь снятой копией, и как-то подозрительно спокойно засыпал. Поднимался по будильнику, какое-то время ошивался у крыльца, дожидаясь открытия. Ну а потом примерным сотрудником возвращался на исходную.

Сейчас даже копия не пригодилась.

Еще и сами закрыть попросили, как разгуляется.

Никаких тебе проверок, все на доверии.

Недоглядов скользнул за последней сигаретой. Дежавю – вовремя остановился. Припасти наутро. Пригодится, наверняка пригодится. Повесив куртку на крючок, вернулся за стол. Поржавевший огрызок яблока, косточки у каймы. Ярко-зеленая кожура на лезвии ножа, ошметки там и здесь, изнанкой кверху. Чего сказать, насвинячил. Как посмотреть, своего рода незаконченная инсталляция. Или законченная, как посмотреть. Поглядел на часы. Завести будильник, встать пораньше. По дороге на вокзал купить пачку сигарет, лучше две, купить газетку, чтобы, едва тронутся, отгородиться от попутчиков. Лучше с кроссвордом позабористее, чтобы хватило до аэропорта, да и там осталось.

Скрипнула раскладушка, подоткнуть одеяло.

Кажется, уже спал и даже что-то видел...

И тут гроыхнуло в зале.  
Недоглядов поворочался, снова гроыхнуло.  
Кто-то откашлялся.  
– *Леночка?*.. – подумалось.  
Ну а кто еще?  
Шаркнуло, как веником по полу.  
Недоглядов влез в ботинки, осторожно высунул нос.  
По центру зала стояла девочка. Крохотная статуэтка в полшубке по колено. Кажется, шапка под мышкой. Стояла и смотрела на картину.  
Недоглядов окликнул.  
Ноль реакции.  
Еще раз.  
Молчание.  
Только этого не хватало.  
– Ты как сюда попала?.. – двинул вглубь зала.  
Недоглядов накрыл плечико рукой.  
Девочка обернулась.  
Песочные волосы с пробором посередке, смуглая кожа. Веснушки по всему лицу, большущие глаза с каким-то причудливо-фиолетовым отливом, а под глазами синяки, недетские синяки, но не то чтобы совсем синие, немного зеленоватые, как недозревший инжир. И вокруг шеи узелок шарфа.  
– Ты как сюда попала?  
И подол полшубка будто погрызли.  
– Где твои родители?  
Похлопала глазами.  
Недоглядов подался вперед – боязливо поджала плечи.  
Напуганный хорек.  
– Кому можно позвонить?  
Недоглядов поспешил за телефоном.  
Когда вернулся, девочка подошла вплотную к картине.  
– Скажи номер...  
– Красивая, – и голосок такой тонкий.  
Недоглядов поглядел на девочку, на картину.  
– Скажи, кому позвонить?  
– Восемь...  
– Так, – пикнуло.  
– Один, – пауза. – Крестик...  
– Один, – пикнуло. – Кре... что, *крестик?*  
– Восемь, – сначала. – Один... крестик... – указательным пальцем по строке. – Один... ноль... еще ноль... запя... – задумалась. – пять?..  
Девочка вернула палец к началу таблички, читала боязливо, нерасторопно, неумело, как по слогам складывала. Недоглядов обхватил ее запястье.  
– Руками не трогать, – сказал он как-то даже гордо.  
И снова поджала плечи, вытаращила глаза.

– Номер! – ослабил хватку. – Кто с тобой?..  
И снова палец к табличке.  
– Да не лапай ты!  
Дернул за предплечье.  
– И это не крестик, – как бы между делом. – Это на.  
– На?  
– Как что-то на что-то.  
– Что-то на ч?..  
– Как размер, – прищурился. – Восемьдесят один на сто.  
Недоглядов очертил вертикали и горизонтالي.  
Девочка в замешательстве посмотрела на картину, затем на табличку.  
– Тут еще запятая.  
– А?  
Ткнула в строку.  
– Ну да, – выдохнул носом. – Не сто, а сто целых и пять десятых.  
– Пять десятых?..  
– Пять миллиметров, получается.  
– Милли?..  
– Сто сантиметров и пять миллиметров.  
– А это как?  
– Как-как, – фыркнул. – По горизонтали, как...  
Накренила голову, прижала шапку к груди.  
– Красивая, – повторила, восхищенно глядя на картину.  
Недоглядов тоже поглядел. Квадрат в полукружии света. Какая-то мешанина, бежевое да бурое, как в песочнице после дождя. Широкие арки, что-то мостообразное, тесемка набережной, темноты и длинноты, ну и проблески оранжевого, справедливости ради, кое-где даже зеленоватое, но все расплывчатое, так вот смотришь и будто уснул лицом в оливы.  
– Кто это? – вдруг произнесла.  
– А?  
– Кто сделал?  
– Понятия не имею.  
И снова потянулась носом к табличке, уже палец занесла.  
– Да сколько ж можно, – буркнул.  
И давай водить по строке.  
– ...Новая глава в его творчестве, – пауза. – Хотя изме... – замялась. – Хотя изменение мотива происходит выну... вынужденно...  
Одернул, теперь уже обеими руками, на сей раз заслонив табличку.  
– Кому сказали!  
А глазища-то жалобные какие, посмотрите.  
Потоптался и обернулся.  
– Его средства настолько скудны, – наклонился. – Что их едва хватает... так-с... – прищурил-

ся. – Изменение мотива... так... он отказывается от открытого цвета... – пауза. – Что бы это ни значило, – пауза. – Концентрирует внимание на едва уловимых эффектах... эффектах... еще про эффекты... вечерние и утренние часы... – мысленно облизнул палец, будто готовясь перелистнуть несколько страниц разом. – Напоминающий тонкое кружево, которое художник погружает в клубы влажного тумана, – усмехнулся. – Влажный, блин, туман, – и себе под нос. – Надо ж такое написать, – еще смехок. – Характерная палитра... так... особый серый тон, варьируемый в градациях... мать моя... жемчужно-серый... ля-ля, тополя... почти черный, – пальцами закавычил. – Дымный цвет старых домов в изобилии тончайших пепельных, графитных... Концовку проглотил.

Почувствовал дыхание – совсем близко – почувствовал, как всякую руку оплетают, как крохотные пальчики заползают внутрь ладони.

Недоуменно поглядел.

А девочка все так же смотрела на картину.

– Графитных, – закончил он. – И жемчужных оттенков.

Пауза.

– Кузнецов, – добавил.

Задрала нос.

– Художник, – кивнул на картину. – Кузнецов.

Тишина.

А потом сказала как-то сухо, с расстановкой.

– Что-то в этом есть.

Постояли еще пару секунд, пока Недоглядов не разощутился, ослабла хватка, пальцы скользнули по пальцам – вот и опустела ладонь.

Едва опомнился, она уже шагнула вдоль линии.

– Эй!

И снова тарашится, уже на другую картину. Только теперь Недоглядов заметил – она стоит в слякоти, в потускневшем разводе, стоит, почесывая ногу боковиной стопы. Босиком стоит, совершенно босая.

– Ты чего?!

– Красивая, – безучастно.

– Почему босиком?..

– А эту кто сделал?

– Простудишься! – духота же. – Подожди!..

Побежал в каморку.

Пошарил в рундуке, вышел с босоножками.

А в зале пусто.

– Ау!

И руками развел.

Еще прикрикнул, погромче.

Вернулось эхом.

Повертел головой, рукой сжал подбородок.

И тут на другом конце зала – в проеме – сверкнуло.

– Вот же ж дрянь, – шепотом.

Пересек зал, переступил порожек.

Все то же, разве что доска поновее и разводы не так сверкают.

Вы подумайте, присоседилась к очередной картине.

Узкая, вытянутая.

– Двадцать на... – хихикнула. – На девяно... сто!..

И рамы больше, чем холста.

– ...Заслуженная актриса, – читала куда более уверенно.

– Кому сказал – ждать!..

– А это кто?

Недоглядов присел на корточки, одну за другой, слегка придерживая за щиколотки, вставил чумазые стопы в босоножки. Конечно, замерзла.

– По-хорошему не хочешь, – вынул телефон. – Значит, я звоню...

– Какая плоская.

– Что?

– Старая.

Что правда, то правда.

Все тот же марафет – не лицо, а оттиск лица, все та же пластилиновая физиономия, остатки волос собраны в пучок. Какая-то пастозная фишня.

– Неживая, – потянула.

– Как и все карт...

– Не моргает.

– Кто, – удивленно. – Старушка?

– Почти не дышит.

– Почти?..

– Преждевременная, – опять потянулась.

На этот раз не к табличке, к полотну.

– Кому сказали!

На этот раз не одернул, ударил по кисти.

Даже не пискнула.

Хотел попросить прощения – вдалеке бахнуло.

Пауза.

– Кто там?

Похоже на входную дверь.

– Кто там?..

Прямо накануне, только этого не хватало.

– Ау, кто там?..

Холодный воздух.

Как будто сквозняк – точно со входа.

– Ну-ка, пошли...

Хотел было взять под руку, но рядом никого.

Вокруг своей оси.

В проеме скрылась босоножка.

– Эй, туда нельзя!  
Вот же ж пронырливая малявка, сама как сквозняк. Недоглядов чертыхнулся.  
Куда?  
Откуда пришел – ни шороха.  
Туда.  
Комнатушка чуть просторнее каморки. Спертый воздух, витает пыль. По периметру, накрытые тряпками и простынями, завалены картины.  
Кажется, списанное.  
Место для всего ненужного.  
– Руки убрала, кому сказали!  
Разве что пар из ушей не валил.  
Попытался схватить за руку, схватил за рукав.  
– Все, сворачиваем экскурсию!  
Потянул – шуба распахнулась.  
А под ней легкое платье, совсем не по погоде.  
– Время видела? – громким шепотом.  
Как будто холщовое, еще и с заплатками.  
– Уже за полночь!  
– Пока нет.  
– Что значит *пока нет*?  
Было взметнул руку – прислонить прямо к моське циферблат, – но сперва взглянул сам и робко сглотнул. Ну не так же ж сильно отставали. И с телефоном то же самое. А часы, часы на стене? Та же несуряца.  
Ступила к дальнему углу.  
Шарфик запихнула в шапку, шапку – под мышку.  
– А ну иди сюда! – тихо, с оглядкой на вход.  
Как со стенкой.  
На этот раз ухватил запястье, крепко стиснул.  
А она взвизгнула, шапку выронила.  
Перепугался до усрачки, не хотел ведь больно делать.  
Поодаль зашумело.  
Холодный пот меж лопаток, за ушами стучит.  
– Прости... – промямлил.  
Не шелохнулась, на запястье внимания не обратила, шмыгает носом и глаза навывкате. Рассматривает накрытый хлопком прямоугольник.  
– Как же так? – плачет, что ли?  
– Как?..  
Вырвалась.  
Шуба, накрыв шапку и шарф, бугрилась на полу.  
– Ты чего думала?  
Метнулась влево, метнулась вправо.  
Рывком опустила тряпку, будто на открытии паятника.  
– Как же так!  
И обхватила, прямо-таки обняла. К середине припала щекой, рукой погладила раму. Какая-то дет-

ская непосредственность, будто подарили зверушку, такое искреннее *«буду тебя любить, буду о тебе заботиться»*.

Недоглядов на пару секунд схлопнулся.

Вот уже сунул шарф в шапку, накинул шубу на плечи.

А она прилепилась, все что-то причитала.

Давай отгаскивать, через не могу.

Дернул и порезался.

Думал, бижутерия, ни черта не бижутерия, нет, вокруг шеи прямо-таки ожерелье, бусины – побольше и поменьше – нанизаны на толстую нитку, еще какие-то камешки и деревянные закорючки, завитушки и ракушки, а между ними редкие пластины, пластинки, как подпиленные ногти.

Недоглядов пригубил кончик пальца.

– Как же так? – глаза блестели.

Теперь уже вопрос ему, ждет ответа.

– Что *как? Так?*

В соседнем зале шорох.

Недоглядов совсем растерялся, какое ж гадство!

– Так не дышит!

– Тихо ты!

Недоглядов присел на корточки, положил руки на плечи.

– Должны дышать, – ему на ушко.

– Краски?..

– ...задохнется.

– Поняли, будем выгуливать, – раздраженно.

Пауза.

Недоглядов убедился, звуки стихли.

– Так...

Хотел было привстать, но теперь уже его запястье в зажиме, пальцами выше, обеими руками взяла его руку и прислонила к полотну.

– *Руками не тр...* – поймал себя на мысли.

Пауза.

Накрыла его ладонь своей.

– Вот тут, – подвинула руку.

Шершавые мазки.

– Нельзя трог...

– Вот там.

Подвинула к середке.

Прижала.

Рваные края.

А внутри – черным-черно.

– А это кто сделал?

– Не знаю...

И тут стукнуло.

– Кто это сделал?

Глухо.

– Должно на таб...

– Кто?  
Тук.

– Пусти, – попытался убрать руку.

– Кто *это* сделал?

– Пусти!  
Не дается, не пускает.  
Крохотная ладонь как сургучом припечатана.

– Кто это?..

– Да не знаю я!  
Тук.

– Было так давно, – пригвоздила. – Так... так быстро, молни...

– Кто это сделал?

– Какой-то дуралей!

– Почему?

– *Почему?*  
Бровь кверху.

– Да отку... – проглотил. – Не ко мне вопросы!  
Тук.

– Как же так?..  
Убрала ладонь.  
Недоглядов шархнул, размял пальцы.  
Пауза.  
Указательный и средний вместе, провела по се-  
редке.  
Тук.  
Тук-тук.  
А потом, как бы это сказать, мурлыкнulo.

– Что за?..

– Как же так, – не унималась.  
Недоглядов пододвинулся, расположился напро-  
тив.  
Черным-черно.  
Все произошло так быстро, молниеносно даже.  
Но время, как бы это сказать, штука относитель-  
ная, переливы на свету. Как этот паренек стоял,  
так и Недоглядов стоял, пока не завидел ножик,  
а как завидел, продолжил стоять еще стойче. И так  
долго все тянулось, мучительно долго, так инте-  
ресно тянулось, столько любопытства, столько  
подспудного. Когда сверкнуло, так было неоче-  
видно, когда вонзилось, так понятно стало – лоп-  
ни, шарик, полнишь смыслом. Когда кромсал – так  
страшно было, так одухотворенно. И крикнул то-  
гда, когда уже каждый в зале крикнул, и побежал  
навстречу, когда уже хрустели кости, грудак ко-  
ленкой в пол.  
Тук.  
Выгнул пальцы, распластал ладонь.  
Тук-тук.  
Как будто потеплело.  
Легонько надавил.

Должно было плашмя упереться, но вместо это-  
го чуть ввалилось – покатое, но не округлое, нет,  
не округлое, покатое, на удивление податливое,  
склизкое на ощупь, как сосиски в целлофане, змеи-  
ное, интригующе продольное, не мурлыканье, нет,  
голодное урчание.

Тук.  
На руке ничего.  
Тук.  
Чисто и сухо.

– Еле дышит, – сказала она.

– Какого черт?..

– Вы же хороший человек?

– Я?

– Вы же поделитесь?

– Я?

– Вам уже не нужно, правда?..

– Я не пони...

– Кроме вас некому.  
Надавила на середку.

И тут изнутри завыло, черным завыло. Прямо из  
расщелины. Еще надавила на середку полотна, а ото-  
звалось почему-то в ребрах – будто корсет утя-  
нули, – еще петелька, еще узелок, как из шарика  
выпустили воздух. Недоглядов хотел было сказать –  
хватит! – но не сказал. Вернее, как, он, может, и ска-  
зал, но сам себя не услышал, так выло. Закупорило  
пробками, в ушах будто ушные палочки, ввинтили по-  
глубже и раскрыли, как зонтики. Хотел завять в от-  
вет, но в горле пересохло, встал где-то у гортани  
кругляшок, мячик для тенниса, ровно по диаметру  
пришелся, азотная капсула, пенная шапка, и вот оно  
пенилось во рту, на языке, утопали стучавшие зубы.  
Резко помутнело в глазах. Подкосились ноги.

Рухнул.  
Боком ездил по полу.  
Внутри все сворачивалось, рвалось наружу. Зрач-  
кам тесно в белках, глаза распирают глазницы. Нос  
отекает, слиплись ноздри. На языке кислое, сладкое на  
языке. Все полилось на пол, вернее, полилось бы,  
если бы не разбилось об изнанку и не расплеска-  
лось во рту, нет – пошло носом, вернее, пошло бы,  
но тупик. Будто срослось, как на монтажном клею.  
Как в метановом пузыре – не продохнуть. Будто  
обернули пакетом, заламинировали, зашпакевали,  
заколотили досками. Где-то под перепрелой кожей  
извивался кишечник, грудная клетка скрежетала  
прутьями. Горело. Как власьяница – козья шерсть на  
голое тело. Умерщвление плоти.

Сквозь завесу слышал бормотание.  
Подползти?  
– Вы же хороший человек?

Из последних сил в карман, сверкнуло в руке.  
Хоть булавка, хоть нож.  
Взмах – ничего.  
На лице будто засохли краски.  
Еще взмах, проткнул.  
Взмах – угнездил.  
Как раскаленным железом клеймят по живому.  
Взмах – протолкнул.  
– Лучше не надо, – над ухом.  
Нажал – распорол.  
Кажется.  
Глоток воздуха сквозь сросшиеся губы.  
Меж кожистых лоскутов хлестнула струйка.  
Не чувствовал запаха, различал только очерта-  
ния – кровавое месиво, ярко-зеленые пятна, завит-  
ки кожи. Взмах – глоток.  
Выл себе внутрь. Эхо по нутру. Взмах – умоляю.  
Боже, умоляю.  
– Вам что, жалко?  
Взмах – сопротивление.  
– Перестаньте, поделитесь!  
Взмах – рот.  
Взмах – ноздри.  
Щека уже в лужице.  
Как штыком врага, которого впервые видишь  
вблизи. Взмах – стена. Как будто затупилась.  
Взмах – ужеросло, наслоилось. Барахтался, как  
рыба на песке. Можно сказать – содрогался. А можно  
и не сказать. Потом перестал, зевали веки. Босо-  
ножки в лужице. Присела, пальцами по волосам, по  
затылку. Как будто даже приятно. Посередке уже не  
черным-черно, нет, поразительно цельно, теперь  
заполнилось, да, разровнялось, на холсте – ни шва,  
ни стежка, будто так оно и было, будто ничего и не  
было. И он увидел, впервые увидел пейзаж, хотя  
смотрел на него до этого. Вот и завитки облаков  
двоятся, соленая пенка на воде, двоятся мачты, до-  
мишки – песочные куличики. И услышал, да, может,  
даже услышал гул прибоя, шелест листвы. Может –  
и то и другое. Кто ж теперь разберет? Ну и булавка  
так удачно примостилась в разомкнутых пальцах,  
точно в перспективу. А потом – отзвук шагов, мель-  
тешение. Кажется, вдалеке зажгли свет. А пока –  
стрекот наручных часов, самое время для времени.  
Лишь бы прошли мимо, лишь бы не нашли. Тик-так.  
Боже, не дай им испортить момент. Тук-тук. При-  
ложился к циферблату, посмотрел на картину, буд-  
то только что положили последний мазок, только-  
только завершили, посмотрел и подумал, впервые  
подумал – что-то в этом есть. И, кажется, – улыб-  
нулся, искренне улыбнулся. Но мы ему об этом, по-  
жалуй, не скажем.